задумываются над тем, а не следует ли им обождать, пока найдется другой Липкин!»

Действительно, в моей переводческой работе меня больше всего привлекало воссоздание памятников эпической поэзии — «Шахнаме» Фирдоуси, поэм Навои и Джами, эпоса киргизов «Манас», бурят — «Гэсэр», татар — «Идегей» (вещь, которую не могу опубликовать), кавказских «Нартов», пространных эпизодов индийской «Махабхараты». Я благодарен судьбе за то, что эта работа привела меня к изучению истории, быта, языков народов Востока, открыла мне философские прозрения мусульманства, буддизма, индуизма. Я благодарен судьбе за то, что во время войны в рядах 110-й кавалерийской дивизии я делил с воинами-калмыками опасность боев и тяжкую горечь нашего временного отступления. Когда в годы сталинского геноцида решили ликвидировать как нации калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, крымских татар, я с ума сходил от невыносимой боли, я плакал по ночам, вспоминая высланных друзей. Эта боль мучает меня и поныне. Трагедии калмыков и чеченцев я посвятил страницы своих поэм, которые до сих пор не напечатаны, хотя я их не раз предлагал различным редакциям. Мы помним, как сталинские литературоведы и историки указывали народам: пусть они вычеркнут из памяти, втопчут в прах свое национальное достояние — эпические поэмы. К счастью, из этого ничего не вышло. Подумал ли любимец советской детворы, что он невольно продолжает бессмысленное дело варваров, указывая «представителям национальных литератур», как поступить — теперь уже не с подлинником, а с переводом? Задумался ли Михалков над тем, что в наших республиках есть образованные, умные, честные ученые и писатели, которые в указках и подсказках не нуждаются? Да и с чисто литературной точки зрения филиппика Михалкова бессмысленна. Можно назначить председателем Союза писателей, но нельзя назначить писателем, назначить поэтом-переводчиком. Будут другие переводы восточных эпических поэм, они будут лучше, чем мои, но моих они не заменят — точно так же, как юмор нового детского поэта не заменит михалковского юмора.

* * *

Друзья меня спрашивают, жалею ли я о том, что из-за участия в альманахе «Метрополь» я оказался на старости лет в трудном положении. Да, жалею, жалею о том, что представлен в «Метрополе» весьма небольшим количеством стихотворений.

Анатоль Франс рассказал о набожном акробате, который служил Богородице с помощью фокусов: иначе он не умел ей служить. Авторы альманаха — писатели очень разные по манере письма, по кругу тем, по пониманию основ художественности. Но их сближает (если мне будет позволено применить к делам нашего цеха столь высокий термин) экуменическое начало. Все авторы хотят, каждый по-своему, служить Богу, чье имя — Правда, и не хотят служить дьяволу, чье имя — Ложь.

Декабрь 1979 г.

МОЛОДОЙ

Апрель

Надежда АЖГИХИНА

Перед рассветом

— Я разуюсь, а то там вода, наслежу. — Он исподлобья, вопросительно глянул на нее, переступил с ноги на ногу, и на линолеуме остались две неровные серые лужицы.

Она кивнула, не двинувшись, так и продолжала стоять, прислонившись к дверному косяку, в коротком линялом халатике и тапочках на босу ногу.

Он быстро снял куртку, шарф, повесил в стенной шкафчик, истоптав окончательно всю крошечную прихожую, снова вопросительно посмотрел — чуть искоса, с затаенным лукавством, как смотрят бесконечно любимые и балованные дети на родителей, как он всегда смотрел, и, быть может, на других женщин тоже. Вдруг, засуетившись, стал искать тапочки, вывалил из галошницы старые растоптанные туфли, наконец нашел, но не по размеру, маленькие, кое-как втиснул ноги.

— Чаем напоишь?

Она с усилием оторвалась от косяка, пошла на кухню, и он, волоча большую коричневую сумку на длинном ремешке, скользнув глазами в глубину темной комнаты, следом.

В кухню пробивался жидкий сонный свет от фонарей внизу — во дворе, на противоположной стороне улицы, обозначал потускневший бок заварного чайника на подоконнике, белые панели холодильника; где-то за портьерой, отодвинутой от окна, угадывались часы. В доме напротив обреченно светились бледные пунктиры лифта.

— О, Господи, который час-то? — старушечьи пробормотала она, щелкнула выключателем, и через мгновение кухню залило бело-желтым, из ввинченного в потолок, как в поезде, шестигранного пластикового плафона, и это мгновение до света воздух как будто медлил, решая, впустить ли пришельцев, отринуть ли ночь, сон, которым дышит вокруг все живое.

Часы не тикали, начиненные электрическим механизмом, стрелки их, чуть изогнутые от частых прикосновений, показывали четверть пятого. Чайник грелся на плите, поблескивая единственным начищенным боком, на столе ютились уныло пустая сахарница с прилипшими от влаги крошками сахарной пудры, пепельница, большой коробок спичек с неровно оторванными краями. Он, устроившись на табуретке между столом и холодильником, курил «Беломор». Неожиданно холодильник затрещал, и он вздрогнул от этого звука.

— Так чем обязаны такой чести? — спросила она, шурясь от света и от сна, садясь напротив.

— Двушка была только одна, понимаешь? — Он по-детски простодушно посмотрел на нее, и лукавство затаилось в уголках глаз. — И ту автомат съел. Ты не слышала телефона? Я посреди Нагатино, без копья, доехал до трех вокзалов на ассенизаторе каком-то, оттуда пёхом. Вот промокли ноги. У тебя нафтизина нет? Два дня как отболел. Бронхит.

— Нет.

— Уж, — он покачал головой, рассмеялся, — думал, он меня не довезет, представляешь, пьяный в дрезину и говорит: «По-ом, найдем кореша». Насилу отвязался на трех вокзалах. Скажу тебе, на площади шлюх — даже не думал, что их сразу столько может быть. Старые. Поношенные. И все с авоськами или с сумками хозяйственными. Представляешь?! Как будто на рынок собрались. Во дела...

— Что же ты не поехал куда-нибудь поближе? — Она смотрела на него с бесстрастным интересом, как смотрит начинающий биолог, готовясь препарировать жука или лягушку, и голос ее звучал отрешенно, похожий на холодный и странный свет на кухне в ночном городе. Этот голос его обескуражил.

— Я к тебе ехал, — сказал он, отложив папиросу. — Я — к тебе пришел.

Холодильник, взревев, дернулся и замолк так же беспричинно, как и загудел.

Она посмотрела на холодильник, на часы, унеслась взглядом в ночь с пунктирами лифта напротив, за окном, и как будто вдруг вспомнив про собеседника, вынырнув из темноты — на него.

— Изматываешься? — Он снова закурил. — Как там твои эти, доктора, кандидаты? Все к восьми, как на поверку?

— Я теперь там не работаю.

Он отложил коробок спичек.

— Как так? Почему? Тебе же обещали хорошую ставку, когда институт закончишь...

— Модернизация производства. Теперь карточки компьютер учитывает. А компьютеру в комплект полагается социолог. Секретарши в эпоху хозрасчета — анахронизм.

— Ну это хамство, — возмутился он. — Сколько лет человек работал, надеялся, а они... Ты бы в профсоюз пошла, что ли. Заморочили человеку голову и под зад коленкой...

— Я сама ушла. — Она облокотилась на стол. — Здесь, недалеко. В кооперативе.

— Что? — не понял он. — Кем?

— Машинисткой. Работа сдельная. Очень много, между прочим, было претендентов. Зато спокойно, и заказчики хорошие. В основном с печатного текста, им важно оформить правильно. Они там по технической информации, меня из института порекомендовали, так бы не устроилась.

Он затянулся, закашлялся, глотнул дым.

— Машинисткой, значит?

— Очень мне повезло с местом. Главное, чтобы кооператив этот подольше продержался, поговаривают, скоро такие закроют, останется один общепит.

— Сортиры оставят. Доход больно хороший. Рэкет только одолевает. Твои приятели спокойно спят?

— Это организация серьезная. И не такой у них доход, как кажется. Действительно людям помогают. Почему все плохие как один?

— А что сказали в институте о твоей новой работе?

— Ничего не сказали. — Она повернула сахарницу крошками к себе.

— Никто-никто не поинтересовался, как это ты вдруг, интеллигентный человек, пошла в такое предприятие? — Он сощурился.

— Никто-никто, — передразнила она, — я же бросила институт, когда мама умерла, я же тебе говорила...

— Но ты же собиралась восстановиться, ты же училась, Любка...

— Не восстановилась. — Она поставила на стол чашки без блюдец, бросила две ложки в темных разводах.

Он сидел сгорбившись, курил, потом выпрямился.

— Ты идешь по легкому пути, Люба, — голос его обрел уверенность, — я о тебе такого не думал.

Она остановилась, долго и внимательно смотрела на него.

— Наверное, ты прав.

Пронзительно засвистел чайник, его звук дрожал в кухне после того, как выключили конфорку.

Люба налила чай, достала из холодильника плавленый сырок, масло.

— Подожди, у меня есть. — Он вскочил, сильно качнув стол, так что чай пролился из чашек, вытащил из сумки банку баклажанной икры и еще одну, стеклянную, с пластмассовой крышкой. — Вот. Кажется, каша с мясом. — Он отдал в руки Любе, потрогал подбородок. — Теща дала.

Люба выкинула содержимое банки на сковородку, швырнула масла.

— Зачем ты от них ушел?

Он сидел, сложив руки под коленями, согнувшись, замотал головой.

— Не могу больше. Этот дом, эта семья — не мое. И им не хочу портить...

— Напрасно ты ушел.

— Напрасно?! — Он с ожесточением выпрямился. — Ты говоришь, напрасно. А заявлять, что я съедаю больше, чем в дом приношу, это как, не напрасно? Рубль двадцать выдавать по утрам любимому зятю — это что? — Он скрипнул зубами. — Напрасно... Нет уж...

— Надо тебе вернуться. — Люба достала из сушки тарелки, выложила кашу из сковородки. — Ты ведь всегда возвращался.

— Мы договорились, — почти радостно объяснял он, — в субботу и воскресенье Санька у меня, то есть у родителей. Зоопарк, цирк. Патриаршие... Москва! Понимаешь, Москва, а не это Орехово-Кукуево...

Люба потянулась за «Беломором».

— Не кури. По крайней мере это не кури.

Она взяла папиросу, зажгла.

— У Нины что? — Он быстро заморгал, как всегда, когда начинал волноваться, и на лбу обозначилась морщинка.

— Летает. Виталик на пятидневке. Ездим с ней к маме иногда, вот оградку покрасили в прошлые выходные. Нинка не всегда по воскресеньям свободна.

— Замуж не вышла?

— Замуж выходят, когда квартира есть. А мы тут с ней да с Виталиком втроем, и на очередь не ставят — лишних семьдесят сантиметров на душу. Вот она все хочет на кооператив налетать.

— Мне тут, знаешь, дали замену, — он взялся за кашу, — этика и психология семейной жизни... Горячо! Так вот, баба в декрет ушла, ну мне и дали. Спрашивают, а я иногда не знаю, что и отвечать...

— Нашли лучшего педагога. — Она смотрела теперь насмешливо.

— А что? И лучшего. Баба такой предмет вести не может. Итак обезмужичела школа вконец. А девчонки сейчас — вы такими не были...

— Пристают?

— Еще как. После уроков остаются, рассказывают — такого не слышал.

— И ты?

— Говорю, надо ждать настоящей любви.

— Нам, положим, ты тоже так говорил.

— Что, неправильно?

— Не совсем правильно. Ты литературу не начал вести?

— Нет... Не могу рассказывать о писателях, которые не нравятся. — Он покончил с кашей, теперь сосредоточенно размешивал чай.

— Кстати, ты наврал нам тогда, я все забывала сказать — помнишь, про молодого Державина? Это не о Державине было стихотворение...

— Да, я ошибся тогда. Тоже потом прочитал. А все-таки какой у нас кружок был, а? — он рассмеялся. — А Гришка-то, Гришка, настоящим писателем стал! Книжку выпускает. За свои, правда, деньги. Но все равно — книжища! Обещает посвящение написать — пер-

вому учителю. — Он снова засмеялся, по-детски, и стал похож на пионера из старого учебника.

— Знаешь, какие стихи недавно он написал? — Сосредоточился, откинув голову, пошевелил губами, будто припоминая. — Вот, слушай:

Слово, не сорвись на стон,
Опасайся стать соленым,
Ты — последний мой заслон
На лугу вечнозеленом,
Где лежим июньским днем
В зелени травы измятой
Под прицельным артогнем
Роковых восьмидесятых.

Зазвонил телефон.

Они оба разом посмотрели на аппарат с перетянутой изолентой трубкой, Люба подошла.

— Да, у меня гости. Старый знакомый, Сергей, я тебе говорила. Ну, тот, что практику у нас в школе проходил, географию, и кружок по литературе вел. Шереметьево? Что еще за рейс такой? А то приезжай, познакомлю. Ну, привет шефу.

— Кто это? — потрясенно смотрел на Любу.

— Мишка. — Она снова села на табуретку, нога на ногу, запахнула халатик.

Помолчали.

— У вас что, серьезно? — Он пытался затянуться потухшей папиросой.

Люба пожала плечами.

— Он кто?

— Шофер. В управлении работает, здесь рядом. Начальника встречает из Милана. Что за рейс такой — пять двадцать, — она посмотрела на часы. — Наш, аэрофлотский, как пить дать. И еще задерживается.

Сергей наконец затянулся, посмотрел на нее, потом на папиросу и снова на Любу.

— Деньги, значит, водятся, — констатировал он. — Калымит еще.

Люба отвернулась к окну, туда, где дышала ночь.

— Черт знает что, ну погода, — проворчал он, — вот ноги снова промочил, точно ведь заболею. Заболею, а?

Люба не отвечала.

— Слушай, и давно вы... знакомы?

— Год примерно.

— Значит, — он положил руки на стол, — значит...

— Это значит, что когда ты последний раз уходил из дома, мы были уже знакомы. Именно так. А что тебя удивляет? — Она наконец повернулась к нему, и он изумился, увидев глубокую складку от уголков носа к губам, он ее раньше никогда не замечал, эту складку, такую же, как у женщин в автобусе, идущем от последней станции метро.

— Но ведь ты его не любишь? — почти выкрикнул он.

— Слушай, что тебе надо, а? Чего тебе от меня вообще все время надо? Ты никогда не интересовался, из чего состоит моя жизнь — и она состояла из того, чтобы ждать твоих звонков среди ночи, ждать, пока ты снова поссоришься с женой. Тебе просто было всегда плевать, что со мной, хоть я сдохну, хоть меня кто изнасилует, когда я добираюсь ночами в твое Кукуево... Вот ты снова появился — зачем? Чтобы мне опять морочить голову?

— Я — морочил тебе голову?

— Когда у меня умирала мама, ты не пускал меня к ней в больницу, ты требовал, чтобы я читала твои дурацкие конспекты к урокам в это время, а потом, когда стало совсем плохо, ты исчез, ты испарился, ты забыл начисто, что со мной!

— Да? — Он растерянно смотрел на нее. — Но я...

— Тебе нужно было всегда только взять, урвать чужой души, согреться, набраться сил, взлететь, а все остальное — до фени, до лампочки...

— Может, мне уйти?

— Как хочешь.

— Ну, я ухожу. — Он продолжал сидеть и смотреть на нее.

— Как хочешь... Я не могла понять долго, несколько лет. Ты был кумиром, необыкновенным, ты жил духовной жизнью, не как все, ты думал о высоком, мечтал о призвании. Мы все, все просто сдвинулись на тебе! И потом, когда я тебя встретила опять, после выпускного, и все началось, я была поражена, я балдела от одного твоего голоса: Макаренко! Шаталов! Все они просто в подметки тебе не годились. И я не могла понять, отчего так мучаюсь, почему же мне так плохо с самым необыкновенным человеком. И почему ты так поступаешь со мной, со своей женой...

— Но я... — начал было он.

— Послушай. — Она начала успокаиваться, откинула со лба упавшую прядь. — Я не могла понять, почему ты мечтаешь преподавать литературу, а ведешь географию. Почему мечтаешь развестись, а живешь в семье. Не занимаешься ребенком, подожди. — Она махнула рукой. — Ты просто во всем привык себя чувствовать правым. А ты кругом не прав и боишься об этом даже подумать. Ты боишься жизни, вот что. И ты болтун, прости меня. Не ты один, вы все такие, боитесь настоящего. Роковые, артобстрел, — передразнила она. — Брехня все это. Ни на что все ваше поколение не годится. Между прочим, и стихи эти я уже слышала.

Он сидел, опустив голову.

— А я тебе была нужна — для того же. Чтобы от жизни спрятаться. Чтобы думать о высоком — за мой, понимаешь, счет. Ты здорово устроился, за счет жены — одно, родителей — другое, за мой — третье...

Она замолчала, встала, зажгла горелку под чайником и снова села.

Сергей молча курил.

— Да, — наконец проговорил он, — я и не думал, что тебя все это так затянет.

Люба смотрела на него оторопело.

— Любка, Любка... Я так долго ждал, мучился и думал, что есть человек, который до конца — мой, понимаешь, мой! Для которого я — это все, который все простит, поймет. Ведь это самое главное, чтобы был человек, который для тебя готов на все. Я когда об этом думал... — Он смотрел снизу вверх, послушно и беззащитно, как ребенок, такой светлоголовый мальчик с карими глазами, в которых прыгают золотые искринки и где-то в уголках прячется улыбка. — Любка!..

— Ты никогда меня не любил!

— Ну иди же сюда...

— Никогда, за все эти десять лет!

— Иди сюда. Черт возьми, почему у тебя выключатель всегда не на месте...

Телефон звонил из последних сил. Люба, запутавшись в халате, больно ударилась ногой об угол табуретки.

— Да. Я не слышала. Да. Что ты орешь? Ну и пусть задерживается дальше. Да. Не подходила, потому что не могла. Да! Потому что занималась любовью. Иди к черту. — И повесила трубку.

Сергей появился на кухне, запахивая продранный бухарский халат, закурил. Спичка на мгновение озарила его, шею, щеку, грудь, подбородок, слишком женственный и нежный для тридцатидвухлетнего мужчины.

— Не зажигай. Так лучше.

Телефон зазвонил снова.

— Да. Да! Я тебе сказала как есть. Я не издеваюсь. Встречаешь, и счастливо встречать. Слушай, оставь меня, а?!

Сергей взял было чайник и тут же отдернул руку.

— Распаялся, кажется.

— Воды налей.

Он снял полотенце в подпалинах, держа на вытянутой руке, налил воду, которая тут же окутала его паром. Люба сидела, потирая ушибленную ногу.

— Есть хочется.

— У нас председатель решил клиентов кормить бесплатными завтраками, чай и бутерброды, на столиках тут же. Очень пристойно, клетчатые салфетки, как в пиццерии. Так один хмырь третий день приходит изучать каталог, ровно к одиннадцати. Бутерброд съедает и уходит. Я его спросила вчера, будет ли на следующей неделе, он отвечает — непременно, хочет вполне оценить свои возможности. Так и сказал. Снова сегодня заявится, наверняка.

— Ты бы восстановилась в институте все-таки. Хотя, конечно, это все формальности. Но нельзя же так, — говорил он с набитым ртом.

— Помнишь, ты всех нас, весь кружок возил в Переделкино? Как мы над могилой Пастернака плакали? Я точно плакала, помню.

— Ну, я прямо ошалел — думаю, такая будет классной дамой. Не завучем, а именно классной дамой, как раньше, а тут...

Люба затушила папиросу.

— Тебе к первому уроку?

— Ко второму. Девятый «В», головорез на головорезе. А стихи — стихи эти на самом деле другой парень написал, Гришкин знакомый. Но у Гришки тоже есть об этом... Вот что, ты будильник поставь на полдевятого, завтра трудный день будет. Комиссия какая-то придет...

Снова зазвонил телефон. Люба подняла трубку, но оттуда на всю кухню раздавались короткие гудки.

Утром шел дождь. Мелкий, осенний, частой сеткой накрывший город. Думать о дороге на работу с пересадками и автобусами под таким дождем было мучение, и думать о том, сколько надо сделать за день, тоже было мучение, и под сеткой занудного бесконечного дождя казалось, что вся жизнь монотонна и тащится через пень колоду, как не должна, как ей нельзя идти. И казалось, пешеходы, утренние, хлюпающие носами, понимали это и, смирившись с неправильным течением жизни, тащились на работу, по делам, к своей нескончаемой мороке.

Чай с утра им попить не пришлось — заварка кончилась, и хлеб зачерствел непоправимо. Она не успела как следует погладить юбку, и ботинки у него за ночь так и не просохли.

— Слушай, — вдруг остановился он, сняв уже с вешалки куртку, — мне же сегодня взносы платить, аж за три месяца. — Он растерянно посмотрел по сторонам. — Еще вчера надо было, до сегодня ведомость задержали... — Он пошарил в карманах, потом вывернул, по прихожей покатились двадцать копеек. — Нет у тебя десятки на неделю? До двадцать восьмого, до получки?

— У меня только три. — Люба вытащила кошелек из сумочки. — Точно, три.

— Попробую родителям позвонить. — Он заглянул в кухню, где стояли часы. — Может, успею.

— Погоди, — остановила Люба. — Дай-ка я сначала соседке наберу, здесь, в крайнем подъезде.

Люба позвонила без четверти девять, когда я еще толком не проснулась — вчера допоздна дежурила в газете, номер шел трудно, материалы из моей полосы то снимали, то снова ставили, так что когда наконец все, хоть и с ощутимыми потерями, было подписано, вместо законной радости пришла какая-то вялая опустошенность и привычная после дежурства надсадная головная боль.

Люба не в первый раз брала в долг и отдавала аккуратно, в ею же самой назначенный срок. Да хоть бы и не в срок.

Я быстро оделась и спустилась в наш двор, затянутый туманной сеткой дождя. Они вышли из Любиного подъезда, раскрыли смешной розовый зонтик, который помню без малого лет восемь. Любин спутник — его лицо показалось знакомым — выглядывал из-под капюшона по-мальчишески удивленно, как будто этот мир все еще продолжал его поражать, а она, тщательно накрашенная, в старень-

ком пальтишке и позапрошлогодней моды сапогах, жалась к нему под зонтиком, слишком хрупким и беззащитным.

Я отдала деньги, и мы расстались, я двинулась к дому, они — через двор, наискосок.

Уже на последней ступеньке подъезда я оглянулась. Они прощались, остановившись на пятачке между детской площадкой с покосившейся песочницей и мусорными контейнерами. Он наскоро коснулся ее щеки и устремился направо, к арке, чтобы слиться с торопящейся толпой.

Люба на мгновение осталась одна под зонтиком, потом, неуверенно ступая, боясь угодить в лужу, зашагала налево, к подземному переходу. Что-то было щемящее и жалкое в ее нескладной фигурке, в затрепанном пальто, затерянной среди бесприютности этого города, под горестным дождем, и захотелось немедленно догнать ее, утешить, сказать какие-то необходимые и такие простые слова...

Я догнала ее уже у самого подземного перехода.

Люба шла, ничего и никого не замечая вокруг. Глаза ее были широко раскрыты, и все лицо светилось таким оглушительным счастьем, что и утренняя суета, и дождливый неуют, и нескладицы городских встреч и расставаний рядом с ним, этим счастьем, потеряли всякий смысл. Зонтик бросал на Любу едва заметную розоватую тень, и она медленно проплыла в розовом облаке по ступенькам подземного перехода вниз, ни с кем не сталкиваясь, никого не задевая.

Я так и не решилась ее окликнуть.